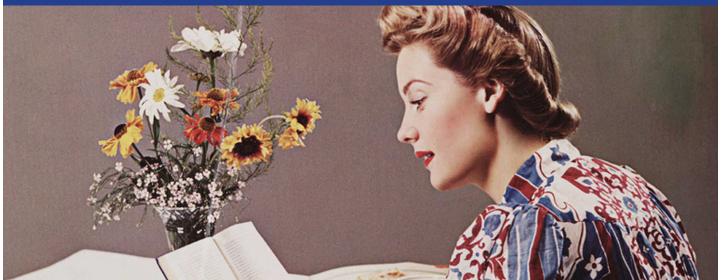




Галина Щербакова

Восхождение
на холм царя Соломона
с коляской и велосипедом

ФТМ



Галина Николаевна Щербакова

Восхождение на холм

царя Соломона с

коляской и велосипедом

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=130540
ISBN 978-5-4467-1830-6

Аннотация

«Сто лет назад или около на дороге из Пуща-Водицы в Киев умерла старуха. Баба Руденчиха совершенно не собиралась этого делать, она была настроена на жизнь и на долгое путешествие аж до самой Белой Церкви, где вдовела ее старшая сестра. Семидесятилетняя Руденчиха собиралась соврать сестре Варваре, что пришла ради нее, чтобы подмогнуть в старости, все-таки той уже ближе к восьмидесяти, а Руденчиха, слава Богу, крепкая, до работы спорая, она еще самое то – принести и сделать. И баба шла быстро, ее босые пятки стучали по шляху вполне энергично и, может даже, отдавались в центре земли...»

Содержание

1	4
2	6
3	8
4	11
5	16
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Галина Щербакова

Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом

1

Сто лет назад или около на дороге из Пуща-Водицы в Киев умерла старуха. Баба Руденчиха совершенно не собиралась этого делать, она была настроена на жизнь и на долгое путешествие аж до самой Белой Церкви, где вдовела ее старшая сестра. Семидесятилетняя Руденчиха собиралась соврать сестре Варваре, что пришла ради нее, чтобы подмогнуть в старости, все-таки той уже ближе к восьмидесяти, а Руденчиха, слава Богу, крепкая, до работы спорая, она еще самое то – принести и сделать. И баба шла быстро, ее босые пятки стучали по шляху вполне энергично и, может даже, отдавались в центре земли.

Пуща-Водица дула ей в спину ветром недобрым, но чем дальше, тем дула слабее, и в этом положительная сила расстояния. В Киеве баба собиралась помолиться, для чего говела уже две недели, чтоб снять грех со своей души, но, глав-

ное, с души тех, которые вытолкнули ее на дорогу. «Хай! – молилась Руденчиха. – Хай живут!» Главное было – не думать про это все время. Про то, что она одна на дороге, в легком мешке у нее все, что у нее есть, и ей, как потом скажут ее правнуки совсем по другому поводу, нельзя ни шагу назад.

Руденчиха стучала по земле и мысли старалась отбирать исключительно местного значения. Вон та загогулина, что буковкой обзмеила овраг, пройдет – и дорога станет под гору, а там и Киев закрасуется так, что сердцу станет больно от красоты, и вот тогда она уже даст себе поплакать хоть и тихонько, но все-таки допуская к слезам тонкий голос, чтоб душе стало легче. От красоты можно и повыть в чистом поле, когда она сядет на землю и даст пяткам роздых.

Одновременно...

Из Киева в Пущу-Водицу – совсем наоборот – шел еврей Хаим, это был случайный проходящий еврей, которому вообще-то надо было в другую сторону, но так встали звезды, что и он своими босыми пятками (ну чем их можно еще заменить?) дошел до того места, где ногами в сторону Киева лежала баба Руденчиха и рот ее был жадно и навсегда открыт небу. Хаим сказал что-то на своем печальном языке и оттащил бабу в хорошую такую ямку, которую придумала сама природа как бы специально для Руденчихи. В мешке ее он нашел бумаги, но Хаим не знал грамоты этого народа, он только по-польски немножко читал по-печатному.

Конечно, можно было сделать вид, что его не касаются мертвецы, лежащие на дороге, и не его дело с ними как-то поступать. Но Хаим очень хотел бы, чтобы его тоже быстро положили в землю, если придет его час, и чтоб ни у кого не возникло мысленных затруднений на этот счет. И он, выпевая свою молитву, хорошо присыпал Руденчиху, закрыв ей лицо платочком в мелкую такую точечку. И трюхи посидел рядом с могилкой, думая над жизнью как таковой... Жизнь не давалась ему в разумение, а положиться без задумчивости на Богом данные истины у него почему-то не получалось. Истины были прекрасные, но хрупкие, а жизнь некрасивая,

но сильная, и концами они не сходились. Имеются в виду истины.

Покидая уже никуда не идущую Руденчиху, Хаим попросил Бога, чтоб он не оставил его с открытым в небо ртом, чтоб нашелся и для него по дороге путник с правильными понятиями.

Через сто лет или около на тахана-мерказит маленького города близ Хайфы, что в Израиле, сомлела пожилая дама, всем своим видом доказывающая непричастность к народу этой земли. Она уперлась спиной о бетонный стояк этой самой таханы, или этой самой мерказит, одним словом, дело было на автобусной станции. Дама, значит, сомлела, но не упала, а осталась сидеть, откинувшись на стояк.

Ее заметили скоро: если не через десять минут, то через пятнадцать точно. И тут же завывала не своим голосом амбуланц – то есть «скорая помощь», – хотя почему не своим, очень даже своим – и молодой бородатый доктор Хаим сам положил даму на носилки и дал всему этому делу колеса и ноги, и уже скоро все, кому надо, знали, что всякие трубочки, шлангочки и прочие стражники жизни приставлены к Анне Лившиц, приехавшей в гости и так далее.

Внешний мир спорадически пробивался к мозгу женщины, она слышала его всплески, но когда они исчезали, на самом моменте их излета, утихания, возникало нечто, что в переводе на язык жизни можно было бы приблизительно обозначить как радость и удовлетворение... Но это очень приблизительно, как приблизительно само наше немогущее представление о том, что с нами случается там, за гранью. Гораздо интереснее в смысле описания живой и полнокров-

ный доктор Хаим, который, успокоившись состоянием больной, покинул ее – и зря, между прочим, – на могучую аппаратуру и сноровистых медицинских сестер, а сам вышел в коридор, где, не озабоченные сохранением тишины, шумели многочисленные евреи, и Хаим (Леня Вильчек в прошлой жизни) в который раз подумал о том, что своих соплеменников он любит вкрапленными в тело других народов, там они как бы умнее и как бы выдержаннее, а тут одна орущая «мешпуха». То бишь семья. Леня-Хаим был немножко художником – так, для себя, без всяких претензий. Он малевал под Шагала, под Дали, под Шемякина, это самое «под» было в его картинах главным и даже как бы позорило Леню, но ведь он и не лез со своими картинками на выставки, он даже никому их не дарил. Они висели у него дома в темном коридоре – так решила его жена, – и он не спорил, еще чего! Там им, скорее всего, и место. Но когда никого не было дома, он включал все лампочки и ходил по коридору туда-сюда, туда-сюда, и на него падали из иллюминаторов самолетов скрипки, шахматные доски, «Анны Каренины» и таблицы логарифмов. Картина под Шагала, которая устраивала это безобразие, называлась «Освобождение от лишнего. Исход из России».

Сейчас Хаим, не художник, не мазила, а реаниматор Божьей милостью, разглядывая орущую семью Анны Лившиц, особо выделил хлопающую руками по широким, квадрат-

ным бедрам женщину, определил ее как главную в этом кодексе и обрадовался, что не надо выстраивать на кончике языка медленный ряд ивритских слов, так как «бедра в квадрате» говорили на хорошем русском, которому Богом дано выражать словами много больше, чем только смысл самих слов. В русской речи есть еще нечто – надсловие, подсловие, а есть и что-то притулившееся рядом... Правильно делают те, кто упорно овладевает английским. Вот он как раз создан для того, для чего и быть языку – для понимания, тогда как наш великий и могучий – и для понимания, конечно же!

– но и для того, что над... под... и сбоку...

Хаим уже растянул губы от радости этой русской непонятности, но мы его оставим на этом. Хаимы в нашей истории сыграли свои исторические роли, они Первыми держали за концы Полог целого столетия, который нам надлежит сейчас натянуть как следует, чтоб кусок человеческой истории вместился под ним, как помещаются дети под простыней, тряпкой, полиэтиленом, натянутыми на что ни попадя, чтоб сыграть под прикрытием, как под небом, свою игру в дочки-матери.

Собственно, и мы об этом.

Никто никогда не искал бабу Руденчиху. Сестра Варвара в голову не могла взять, что кто-то там к ней идет на подмогу. Какая подмога? От кого? В Пуще-Водице живет сестра, так у нее ж трое детей, внуков она даже не знает сколько... Какая подмога! Смех с вас!

У Варвары снимала угол и столовалась фельдшерица. Старая дева верила в звезду Сириус, но показать ее на небе не могла, потому как та была с другой стороны неба. Варвара сразу подумала, что это очень умно – верить в то, что не видно. Что это – считала Варвара – освобождает от ответственности. Фельдшерица же как раз была ответственна до противности, и это единственное, что вызывало у Варвары желание отказать ей от угла и стола, потому что сама она никогда не озабочивалась поливом огорода, если ей хотелось другого, например, погадать на свою младшую сестру и убедиться лишний раз, какая у той «дурная судьба».

Это ж надо, при живом, правда, отсутствующем муже, завести шуры-муры с шинкарем из жидов. Варвара от одной этой мысли холодела ногами и влезала в подрезанные валенки, потому как ножной холод считала очень опасным для дыхательных путей. Начнешь стынуть с пальцев, а перекинется аж в горло. Злые языки говорили, что кто-то из детей сестры – от шинкаря, потому как это дело естественное: раз есть

одно, то и другое идет следом.

Но Варвара знала точно: брехня.

Два раза, тайком от чужих глаз, была у нее непутевая, это когда надо было травить ребенка. «Не от Николая», – говорила она Варваре и ложилась на грех и муку. Правда, кончалось все благополучно. Организм у грешницы был крепкий.

У Варвары за время пребывания сестры набухало много вопросов, и высоких, и низких. Последние для нее были вообще не говоримы по причине Варвариной стыдливости. Давным-давно, всего два месяца, у нее был муж. А потом взял и утоп. Повис тогда в воздухе вопрос – не сам ли? И уставился на Варвару острый глаз народа, не она ли причиной, потому как... С чего бы другого? Она тогда заколотилась в страдании именно от этого – от подозрения. И всю свою жизнь оправдывалась за Федю, который ушел на речку и не пришел. А ей ведь живи! Потому кто, с кем и зачем, Варварой и не говорилось, и даже зачеркивалось в мозгу. Стеснялась она спросить и другое: почему сестра не боится греха измены вере? Соединения с другим Богом? Но та как-то сама сказала: «Не было б детей – ушла б. Глупость это – еврей-нееврей. Любовь, Варька, это все!..» Тут уж Варвара не стерпела и сказала, что за такие слова – «любовь – все» – точно – ад и горячие печи. На это сестра засмеялась, закинув голову: «Дура ты, Варька! Ад и печи – здесь. На земле». «Сгоришь, сгоришь!» – кричала Варвара.

Тогда же пришла к ней странная мысль: сестра – чтоб всем

назло – могла оставить плод и от шинкаря. Такой у нее характер. Варвара быстренько перебрала в памяти племянников. Не сообразишь! Все, как один, лупатые и кареглазые, в мать. Шинкаря же Варвара никогда не видела.

Но это когда все было... Не посчитаешь. К ней уже давно не приходит вопрос о Феде – сам или не сам? И сестра уже бабка. Теперь у них обеих один ответ – перед Богом. Он справедливый. Он определит. Но смерть на шляху и чтоб рот открытый, и чтоб еврей «заховав» – такого карты показать не могли. И то сказать, как? Еврей – он ведь не валет и не король. Он кто? И вообще смерть на шляху – если бы Варвара про нее знала – гораздо ширше пикового туза, даже если положить на него сверху девятку пик, а пик даму сунуть ему под ноги.

В общем, Варвара жила-поживала под приглядом фельдшерицы, и та похоронила ее по всем церковным правилам, хотя и держала в голове потусторонний Сириус. Она была широким по мировоззрению человеком, эта старая дева тех времен, когда слово значило то, что значило.

И царство им всем небесное.

Не искали бабу Руденчиху и ее дети. Старший сын давно существовал где-то в кацапских краях, средний пил и гулял, считая, что если не это, то тогда зачем жизнь? В смысле – вообще? Мать являлась ему тогда, когда настырный такой хлоп-печ-чертеня садился ему на шею и бил его копытками под самый что ни на есть кадык. Вот тогда и являлась с рушни-

ком ридна матынько и рвала рушник на чертячьих рожках, но маленьке бесеня прыгало с шеи, гогоча по-своему. Где ж она, мать, думал сынок, общупывая болючие ребра, звидки-ля появлялась и куды счезла?

И он спрашивал сестру Паню, от которой и ушла с мешочком старуха Руденчиха:

– От матери ничего нема?

Паня начинала ответ с самой высокой ноты, может, «ля», а очень возможно, что даже «си». Она могла держаться на ней долго, на ноте, так что даже куры прятались кто куда, не то что имеющие соображение собаки, которые учуивали ноту «ля» («си»?) за момент до ее возникновения. Ответа на вопрос брат, как правило, не дожидался, он уходил вместе с курами, завидуя мудрой скорости собак.

Паня знала сокрушительную силу своего голоса, потому всегда после крестилась, нервно ища направление прощения, но где ты его найдешь, если кругом, куда ни глянешь, то клуня, то курятник, то уборная? Панин глаз все это ухватывал, и уже до второго перекрестья дело не доходило, зато гнев набухал в ней рьяно, и из двора тихонечко убегали уже и дети, и даже Тарасик – звездочка, внучек ненаглядный – и тот на своих кривых лапках тикал за всеми, улавливая высокое напряжение воздуха и природы.

Вот его Паня обязательно славливала и, обнимая, отходила голосом, и уже другие звуки шли из нее, те, что хорошо годятся для расцветания и плодоношения. Такие звуки – не

исключено – мог слышать и сам Моцарт. Не от Пани, конечно, но где-то недалеко от Киева. В Европе.

Совсем в другое время, когда уже и внука Пани на свете не было, его внучка играла в настольный теннис в огромном редакционном холле, а тамошние мужики и парни в этот момент всегда открывали двери, потому что каждому хотелось поймать глазом краешек трусиков Паниной праправнучки, когда та дотягивалась ракеткой до шарика, который взбрыкивал от нее подальше. Тогда у картины был вид так вид – и весь мужской род набрякал кровью, желая незамедлительно войти в пределы розовых штанишек. Надо сказать, что многим это удавалось. После игры, конечно.

Хотелось этого и Моцарту. Так в редакции называли по-па-расстригу, регулярно приносившего в пятничный номер газеты «уголок атеиста», где он высоким тенором выпевал отсутствие Бога как такового, ссылаясь на свой трагический опыт заблуждения, когда он смолodu и сдуру, под влиянием и так далее... За то, что он брал в этом важнейшем деле идеологии самую что ни на есть высоту и парил в ней на прямых крылах аки тот голубь, он и получил кличку «Моцарт», хотя фамилию имел грубую – Шумейко, звался Иваном, но это не имеет никакого отношения к делу. Поп-расстрига нужен нам, что называется, на раз.

А раз такой...

Наглядевшись с близкой, удобной позиции на хорошень-

кие ножки Паниной праправнучки, в миру Лильки Муратовой, и обмыслив хитромудрым лукавым умом свои шансы на возможность более конкретных отношений с Лилькой, Ваня-расстрига понял, что разыгравшуюся фантазию ему лучше попридержать в конюшне, а не давать ей вольную волю. Лилька заведовала тем самым отделом, куда он приносил свои насмешки над Богом и иже с ним, отношения у них сложились вполне деловые, каждую пятницу, лишь солнце закатится, он имел свеженький оттиск статейки, их уже поднабралось более чем, и обком вынашивал в своем большом животе идею Дома Атеизма, именно так – с двух больших букв. Хотя Ваня Шумейко в партии еще не был, а только собирал рекомендации, но по существу он и забрюхатил идеей обком. Поведи он Лильку в какое-нибудь укромное место, при ее языке завтра же весь мир узнает, какие у него параметры и скорость. Поэтому экс-поп ударил сложенной в трубку очередной заметкой по возбудительной Лилькиной попке, Лилька потеряла шарик, заорала на него «дурак!», Ваня сказал, что Бог все видит, как они в рабочее время стук-стук да стук-стук, одним словом, игра прервалась, и Лилька повела Ваню на свое рабочее место, одновременно выкусывая из своей крепенькой ладони мозолики от ракетки. «Дай!» – сказал Ваня, беря Лилькину руку. Дело в том, что он последнее время баловался хиромантией, хотя в те годы слово это знали очень сильные интеллигенты, а простой народ вообще если и слышал его, то был убежден, что корень там совсем не

тот, что имели в виду греки. Наш задний ум на самом деле очень передний, и нас хлебом не корми, а дай вставить любимое слово ума в самую что ни на есть середину. Ваня Шумейко с чувством глубокой печали отметил у Лильки очень сытный «Венерин бугорок», вздохнул по поводу жизни, в которой так часто приходится отказываться от вкусного, и хотел уже бросить горячую Лилькину лапу, но тут профессиональный взгляд усмотрел точечную ямку на линии Лилькиной жизни, после которой линии как бы не стало; получалось, что жизнь у нее совсем, совсем недлинная, хотя что-то в раскладе ладони было необычное, потому Иван подвел Лильку к большому окну и развернул ее лапу широко и навстречу самому солнышку...

– Тебе, мать, чтоб спастись, надо уйти в монастырь, – сказал он.

– Щас, – ответила Лилька.

– Ты меня слушай, – закричал расстрига, – тебе придется что-то смочь...

Лилька засмеялась. Вот уж что без проблемы – это смочь. Она даже печку переложила, когда снимала халупу в Нахичевани. Разобрала к чертовой матери трубу, вычистила дымоход, побелила комнатку, хозяйка пришла и, как в том стишке, – «такая корова нужна самому». Отказала от комнаты. Лилька ей пригрозила, что, выезжая, сделает печку, как было, а стены чистые «обоссыт». Девушка с красным дипломом университета, Лилька могла мгновенно о нем забыть,

если надо было что-то объяснить родному народу. Ее уважали технички, электрики, слесаря, даже продавщицы, потому что Лилька всегда держала в кармане пульт на спуск некоей себя другой, не знающей французского и латыни и не почитающей Аполлинера.

Так вот... Ей ли не смочь?

– Сможем, если надо, – ответила Лилька, вырывая руку у расстриги, – давай лучше свой пасквиль.

– Лиль! – сказал тот. – У тебя будет трудный период... На грани, можно сказать...

– Помру? – спросила Лилька, которой уже нагадывали и короткую жизнь, и длинную, и бедность, и богатство, и двух мужей, а у нее уже был четвертый, и троих детей, а у нее была двенадцатилетняя дочка, за которой вослед вытащили из нее все рожальные причиндалы, и была она теперь свободна от страха забеременеть, и никакой печали о неродившихся ребеночках у нее сроду не было. Так что поп-расстрига мог ее пугать, как хотел, мог ей морочить голову, Лилька была свободна от мыслей, как оно там будет...

Но мы запомним этот момент развернутой к солнцу ладошки. Как запомним лежащую на шляху ногами к Киеву Руденчиху, двух Хаимов, сомлевшую у тахана-мерказит Анну Лившиц и то, что мы так шутя-играючи натянули полог на целое столетие и теперь нашли себе место в центре жизни Лильки Муратовой, которая читает статейку расстриги, выкусывая из ладошки пинг-понговые мозолики.

Вечером она положила на стол редактору статью Вани, тот привычно, даже, можно сказать, буднично приспустил ей трусики и – не подумайте плохого! – почесал ей лобок, такая у них была игра, потому что другой быть не могло: редактор был слегка импотент, слегка трусоват, но так чтоб совсем от всего отказаться – силы воли не хватало.

Правда, после этого он шел по лицу багровым пятном и прилично скотинел глазом, но и это кончалось столь же быстро, сколь быстро и начиналось. К тому же у редактора была фамилия Минутко и, видимо, она все и определяла, хотя Лилька давно всем объяснила, что никакой он не Минутко, Минутки теперь все, он – Секундко. Но определение не прижилось. Неудобные для произношения встали буквы, а мы не какие-нибудь там венгры, чтоб ломать себе язык на слепившихся согласных. Лилька оправила юбочнку, редактор незаметно нюхнул подушечки пальцев-игрецов, пятно с лица его сошло, и он сказал, что двухкомнатную квартиру им в этот раз не дают, а дают однокомнатную, так что «извините, Лилия Ивановна».

– Хочешь – жди следующего дома.

– Я тебя сейчас убью, – сказала Лилька и взяла каслинского Дон Кихота, подаренного редактору на пятидесятилетие. Дон был большой, и если прицелиться его оттопыренной рукой в висок... Почему ей хотелось убить редактора именно так – рукой Дон Кихота, когда куда как легче было это сделать основанием скульптуры прямо по лысой башке, на ко-

торой висок – в сущности малость. В него еще попади.

Минутко пожевал собственный рот – так он обижался. Он и правда боролся за двухкомнатную квартиру для Лильки, заведующей отделом, ее мужа, сотрудника чумного института, и их ребенка – девочки Майи. Но ему сказали: какие претензии? Двухкомнатные рассчитаны на четверых. Не меньше! Сам посчитай: пять на четыре – двадцать, плюс еще пять на хозяина. Это же арифметика.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.